

Федор Михайлович Решетников

Горнорабочие



Федор Решетников
Горнорабочие

«Public Domain»

1866

Решетников Ф. М.

Горнорабочие / Ф. М. Решетников — «Public Domain», 1866

«...Мы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железодельного, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта. Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдет над горой сердитая гроза – и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра оголиваются деревья. Даже животные, щиплющие здесь траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже...»

© Решетников Ф. М., 1866

© Public Domain, 1866

Содержание

Глава I. Невеселая встреча	5
Глава II. Осиновский завод	11
Глава III. Отец и дочь	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Федор Михайлович Решетников

Горнорабочие

Глава I. Невеселая встреча

Мы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железодельного, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта. Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдет над горой сердитая гроза – и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра огаливаются деревья. Даже животные, щиплющие здесь траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часов вечера. В иную пору, в это время, так здесь весело: можно и по грибы сходить в лес, и рабочих можно увидеть: идут или едут они с рудника и поют песни, и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птиц не слышно; разве сорока пролетит молча, да и та забьется в лес, скроется в ветке, стряхивая с себя дождь, чистя свой нос об ветку и злобно смотря по сторонам; спят белки, обитатели здешних лесов, или в беспокойстве перескакивают с сосны на осину, так что сухие ветви трещат; а воробышек, заменяющий здесь соловья своими песнями, тот давным-давно спит на ветке, спрятавши под крылышко свою красивую головку, и только по временам вздрагивает от ветра, холода и дождевых капель. Одни только большие красные черви, выползая из земли, нежатся на мокрой траве; но стоит только дотронуться до травы, как червяк вмиг улизнет в ту дыру, из которой он выполз...

Вот слышались откуда-то колокольцы. Бренчанье их слышалось все ближе и ближе, – и вот с южной стороны, откуда идет дорога в завод, показалась тройка лошадей, запряженных в повозку, которых погонял взмахом руки ямщик, сидящий на передке. Бедные кони, кажется, измучились; ноги их скользили по глинистой почве. Дорога хотя и усыпана шлаком (нагар от медной и железной руды), но ямщик ехал стороной, вероятно, потому, что неудобно ехать по шлаку. В повозке сидит какой-то барин в горнозаводской шинели, в фуражке, тоже горной формы. Они проехали, и опять скоро тихо стало.

С левой стороны (стоя лицом к заводу) выехал из лесу по узенькой дорожке, против которой, около большой дороги, стоит столбик с дощечкой с надписью: «Ильинский рудник», на одной лошади, запряженной в худую телегу домашнего изделия, человек лет под сорок. Одет он немного лучше крестьянина: на голове фуражка, започиненная двумя заплатами из серого и зеленого старого сукна, с изодранным козырьком, в зеленом тиковом халате, который от дождя походил на черную клеенку, продранном в разных местах и опоясанном кушаком домашнего изделия, в худых больших сапогах. По русым волосам течет дождевая вода с фуражки и падает на корявое, бледное лицо и, мешаясь с новыми дождевыми каплями, течет по бороде, тоже русой, и потом падает ему на колени. Он то и дело утирает лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лице его, довольно правильном, выразались и досада, и проклятия. Он то зевал, то смотрел в лес, то кричал на лошадь:

– Ну-ка, дурак!..

Отъехав немного от столба, он слез с телеги, стегнул лошадь и пошел шагом.

Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги, вероятно, потому, что она сызмальства приучена ходить так, а теперь, поработавши с хозяином вдоволь, она, зная хорошо эту дорогу, чуяла, что и ей скоро будет отдых: она то взмахивала хвостом, то вздыхала, то широко глядела вперед, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяин лошади то перестигал ее, то отставал от нее и тупо глядел на ее копыта: на двух ногах подков нет, на третьей подкова болтается.

– Э-эх, ты, сокол ясный, друг прекрасный! – прокричал он остановившейся вдруг лошади и замахнулся на нее. Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по-прежнему.

– Экая погода-то, осподи!.. В те поры... – шептал хозяин лошади – и вдруг углубился в свои мысли, и лицо его принимало различное выражение.

– Ты, говорит, Токменцов, – подлец, ленивец, плут... На-ткось! А зачем ты меня, ваше благородье, аспид проклятый, отодрал перед тем, как мне в крепильщиках назначение вышло состоять?.. А зачем ты, стерво варнацкое, урок поставил: разве я волен, што не мог представить восьми коробов в день?.. Твоя лошадь-то? Разе лошади такое назначение выходит?.. Ишь, три рубля следует, а на говорит, Токменцов, дурак ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой, золотой, серебряной, штоб те калачиков двадцать...

Токменцов рассуждал про себя и разговаривал с лошастью.

Телега Токменцова была не пустая. В ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Под рогожей что-то шевелилось.

– Ганька! – вскрикнул вдруг Токменцов.

– Ы! – послышалось из-под рогожи болезненно.

– Будь ты проклят, стерво! – сказал скороговоркой с сердцем Токменцов и плюнул. – На, штоб те язвело, анафемского парня!.. Говорил я тебе, не связывайся с Пашкой Крюковым, будешь стеган – нет!.. Вставай, будь ты проклят!! – кричал Токменцов и ткнул витнем в рогожу.

– Ой-е! – простонал Ганька и открыл рогожу. Дождь шел мелкий, как мука из сита.

– Што! мало те полысали, мало? – дразнил Токменцов Ганьку. Токменцов пошел в лес, достал из пазухи кисет с махоркой и трубкой и закурил. Лошадь остановилась. Ганька, парень лет тринадцати, с бледным, худым и таким грязным лицом, как будто он, не умывавшись с месяц, рылся в земле, лежал в телеге на животе. Лицо его выражало и зло, и плутоватость, и страдание, которое выражалось часто, то охами при движении, то каким-то шепотом, то тем, что он грыз зубами рукав своей изгребной толстой синей рубахи, започиненной на спине красной выбоиной, то болтал ногами, на которых были надеты худые башмаки. При этом он больше глядел тупо на один предмет, и зрачки его глаз делались большими.

Отец опять шел около телеги.

– Тятка, дай сосну!

– Я те дам – сосну, сосун экой!

– Дай... – произнес протяжно Ганька, как дитя, просящее есть.

Отец молча дал сыну чубук с трубкой; сын затаился раз и закашлялся.

– Туды же!.. – проговорил отец и вырвал у сына трубку. Немного погодя, он спросил: – Тебя што спрашивают: поди-ко, не больно, коли так-то стягают?

– Я, знашь, што сделаю? Подосену рыло сверну.

– Хо-хо! Тогда так те отшлифуют, што...

– Не ври!

– Дурак ты! – И отец сел на козла. – Это, парень, все веники, а там береза будет. Учись привыкать-кавыкать (терпеть): не ты первый, не ты последний.

– Сказано: Подосену голову сорву! – крикнул зло Ганька.

– Хо-хо... Руки коротки.

– Тятка! – закричал Ганька и поднялся. Отец посмотрел на него весело: Ганька глядит чистым дикарем, по щекам ползут слезы... Отец сжал кулаки, крикнул и, ничего не сказав,

обернулся к лошади. Так они ехали молча около часа. Потом Токменцов запел грустную песню, сначала негромко, а потом во все горло:

Уж ты, гулинька, да ты мой гуленочек!
О-ох, што же ты, гулинька, ко мне во гости не летаешь?
Разе домичку моего да не знаешь?
Разе голосу моего не слышишь?
Разе мой голос ветричком относит?
Али сизы крылушки частым дождем мочит,
Разосенненьким частым споливает...

- Тятка!
- «Частым да споливает...»
- А тятка?
- Чево тебе?
- Дай водички.
- Где бы я про те припас?
- Што да не ласточка по полю летает...
- Тятка!

Отец перестал петь, а только насвистывал. Потом он задумался об том, что сына его Ганьку безвинно наказали на руднике розгами. Вдруг остановил лошадь, взял из телеги топор, подошел к лесу, около которого лежало недавно срубленное дерево.

– Экое дерево-то гожее! – И он, перерубив его натрое, положил в телегу рядом с сыном. В это время из завода подходила навстречу женщина лет сорока пяти, бледная, худая, высокая, с костлявыми руками. На голове ее надет красный платок, на синюю рубаху надет изорванный сарафан, на ногах худенькие башмаки с худыми чулками из шерсти, да на плечах мешок с чем-то. Это был весь ее костюм, а все это давно уже смокло до того, кажется, что не было и на теле ее ни одного сухого места; руки и лицо ее мокрые, по коленям текут черные полосы грязи.

Женщина поравнялась с Токменцовым и спросила:

- Ганька-то где-ка?
 - Здесь, мамка! – сказал весело Ганька и приподнялся.
 - Што ты парня-то не слал?
 - Не слал!.. В первой, што ли!.. Не слал?!.. Прытка больно: всего вон исстягали... Да ты-то куда?
 - Знамо, куда! одна дорога: к главному, самому главному.
 - Будь ты проклятая!.. – и Токменцов плюнул.
 - Чего ты ругаешься? Поди, продавал где-нибудь шары-те. Две педели где-то шатался, шатало, а без тебя чудеса делаются.
 - Какие чудеса?
 - А таки чудеса, што Пашку задрали.
 - Ну?!..
 - А так: ты уехал на рудник-то, а Пашку на Петровский рудник угнали.
 - Да ведь он в лихоманке был?
 - Чего я делать-то стану; поди-кось, слушают нашева брата.
- Токменцов поехал, но, отъехав немного, он остановил лошадь.
- Онисья! – крикнул он. Жена его остановилась.
 - Чево?
- И слезши с телеги, Токменцов пошел к ней.
- Так ты чего ино: куда теперь?

– Толком говорила, што к самому главному начальнику.
– Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?
– Небось получше твоего. Ты бы поглядел, что это было! – сказала она, злобно рванув рубаху, и вдруг заплакала.

– Ну, дура, заживет.

Онисья долго ругалась, а Токменцов стоял молча.

– Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разума нетутка! Ну, чего ты шары-то выпучил, стоишь?

– Молчи, гадина! Сама виновата: обращения такого не имеешь, штоб без беды не прожить. Нет, небось сама суешься, суета проклятая.

– Поди-кось, какие умные речи толкуешь! А по-твоему, это дело: парня взять больнова да и стегать – што ему робить но в силу? Ну, как я узнала, что его задрали, так я и пошла к управляющему, вломилась: с какого, говорю, права можете наших робят задирать? Поддай, говорю, варвар ты эдакой, моего сына, живого поддай!.. Возьми, говорит, хорони его. Ах, ты, говорю я ему, разбойник ты эдакой, покарает же тебя царица небесная... А он и отправил меня в полицию... Ну, где правда?

– Знаешь, я бы не советовал тебе ийти-то.

– Отчего это так?

– Оттого, што и там толку-то нет, все равно, што здесь. Скажут: стоит бабы слушать.

– А по-твоему, мне так и ходить стеганой?.. Шалишь!

– А есть ли у те пропитал-то? Это ты сообразила ли?

– Кто его, пропитал, припас? Христом-богом дойду, добры люди накормят.

– Мамка, и я с тобой!

– Я тебе дам! Мало еще тебя стегали?

Дело в том состояло, что в отсутствие Токменцова сына его Павла, шестнадцати лет, называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. Узнавши об этом, мать и пошла к управляющему, но ее за грубые выражения наказали розгами. Теперь она отправилась с жалобой к главному начальнику горных заводов. Токменцов положительно стал втупик от намерения жены. Оба они люди бедные, пропитание они достают с помощью лошади и детей, которые получают провиант: стало быть, у них одного работника не стало. Даже и тогда человеку рабочему становится горько, когда у него умрет лошадь, а теперь разве ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже, может быть, не избегнет этой же участи? Но он боролся с тем, что будет ли толк какой от жалобы жены и не будет ли ому от этого хуже; а на это он имел десятки фактов.

– Ты бы, Онисья, подумала, что сделали с Фитулихой?

– Сам плох, так и не подаст и бог. Известно, разиня.

– Ой, Онисья, плохо будет: наживешь ты со своей жалобой беды.

Онисья представила себе положение вдовы Фитулиной, которая своей жалобой не только не помогла делу, а все испортила, но зато у нее не задрали сына, ее не стегали.

– Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла, думая: ийти ли ей в самом деле? Кто его знает: Иваныч ровно правду говорит, да как же они смеют! Пойду! – сказала она громко и сердито, – и пошла наша Онисья, а муж ее, задумавшись, ехал в завод. Он так был зол в это время, что попадись ему навстречу какой-нибудь надзиратель, он избил бы его так, что тот на всю жизнь бы калекой сделался. Ганька несколько раз что-то спрашивал у него, но не добился ответа.

До завода верст десять осталось. Лес начинает редеть; около лесу, по обеим сторонам дороги, во многих местах навалены дрова-долготье, в нескольких местах видны черные большие круги на земле; в двух местах жгут кучонки: кучи в два аршина вышины и в полтора ширины, обваленные свежей землей, и из этих куч в боковые отверстия идет дым. На одной

куче стоят двое рабочих в рубахах и скачут – это они убивают горящие под землей дрова, а третий большой ступой бьет с одного боку кучу, – это он садит на товар дрова. В другой куче в середине сделался провал, отчего пламя высоко поднималось. Двое рабочих бросают в середину дрова, а третий кидает туда земли, или зернит. Между этими кучами стоит балаган – род пирамидального трехстенного шалаша, в середине которого разложен огонь. Из третьей кучи выбрасывают золу, землю и ломают длинные толстые угли: один рабочий бьет лопатой, другой граблями отдергивает мелкие угли; третий и четвертый накладывают угли в телегу, пятый уже далеко едет на завод. Это рабочие справляют куренные работы. За семь верст от завода, которого еще не видать, потому что местность идет ровная, а дорога повертывает налево и идет между мелким, редким лесом, – в этом месте попадаются запоздалые коровы, щиплющие траву, попадаются овечки, облизывающие друг друга и как-то болезненно смотрящие по сторонам. Дождь то переставал, то шел снова... Вот откуда-то послышалась заунывная протяжная песня и смолкла опять, а Токменцов сидит все злой, и чем ближе подъезжает он к заводу, то он становится злее.

Гаврила Иваныч Токменцов, как и другие его товарищи, принадлежал наследникам Граблева и назывался непременно работником, как назывался и покойный отец его и как будут называться и дети его. Рос он, как и прочие росли. С тех пор, как он мог ходить на своих ногах, он летом постоянно был на улице и вполне приучался к заводской жизни: сначала валялся в песке и грязи, потом стал бегать по этой грязи и песку в рубашке, без штанов и обуви, потом стал играть, был бит от старых и малых и сам приучался драться, и, между прочим, уже восьми лет владел топором, учился косить траву, умел высверливать на шариках дырки, запрягал и распрягал лошадь, так что физические его силы быстро возрастали и крепились. Бывши мальчуганом, он слыл за отличного бойца и ловкого плута, умел обругать кого угодно так же, как ругается и его отец, усвоивший ругань тоже с детства, и с терпением переносил розги, которых пришлось ему принимать еще очень много. Отец его был крепкий раскольник беспоповщинской секты, но Гаврила Иваныч считается православным; впрочем, в церковь он ходил только в самые большие праздники. В кругу товарищей он уже давно приучился курить табак и потягивал водку. Попавши с двенадцати лет на рудники, под именем малолетка, он уже походил на рабочего: например, он работал на конной машине, погоняя лошадей, таскал в тачках песок, угли и тому подобные вещи. Таким образом, находясь постоянно на работе и сталкиваясь с людьми, он уже в это время не уступал ни речами, ни манерами взрослому рабочему и не был такой сонливый, какими кажутся наши крестьянские парни. В обществе товарищей он изощрялся и сам своим умом на остроты, насмешки; услышав от механика-иностранца иное непонятное слово, он вместе с товарищами прозывал этого механика мудреным словом или складывал песни, пародию на управляющего, прикащика или исправника. Понятия его были так же ограничены, как и у всех, и хотя он родился в раскольнической семье и умел читать и писать, но знал столько же, сколько и другие знали, потому что ему неоткуда было приобрести больше знаний, да он, правда, и сам не нуждался в этом. Попавши в рабочие и проработавши с год, он узнал, что значит быть горнорабочим: прежде хотя и трудновато было, хотелось играть, и дирали на славу за лень, и в шахте приходилось ползать с тачкой на коленях, но все же было как-то легче; теперь он настоящий рабочий: его посылали на работу вместе с прочими, и если урок не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провиантом, деньгами. Нисколько не отличаясь от обыкновенных рабочих, он был, надо сказать, человек честный, практический и по заводу не глупый. Одно только водилось за ним: он, как и другие, потаскивал полосы железа, которые потом продавал, таскал свечи сальные из рудников; но, как мы увидим дальше, этого ему и нельзя было ставить в особую вину.

На Онисье Кириловне он женился на двадцатом году. Женился, конечно, по любви: он был уже взрослый парень, с Онисьей он рос вместе, вместе играл до пятнадцатилетнего возраста, а потом обращался с ней по-своему: то щипнет, то воду прольет, та отделялась от него

бранью и колотушками. Кроме этого, его побуждало жениться еще то: он будет сам хозяин, будет получать четыре пуда провианта, и на детей пойдет тоже провиант. Онисья росла в бедной семье и выросла, как и прочие заводские девушки: научилась домашнему хозяйству, умела косить, лошадь запрячь и ездить верхом на лошади, умела шить и вязать чулки. По умственному развитию она была все-таки ниже мужа: в девушках ей не приходилось слышать от старших много хорошего; вышедши замуж, она сначала работала вместе с мужем около рудников, а потом она стала водиться с детьми; а известно, что рабочему человеку, занятому домашним хозяйством и детьми, заботы много, и думать о чем-нибудь приходится разве за чулком, да и тут от ребяческого крика не много надумаешь.

Онисья Кириловна была хозяйка хорошая, и, если бы не рожала детей, она бы непременно стала работать с мужем, как это часто делают многие женщины на заводах и промыслах. Но теперь у нее есть дочь восемнадцати лет, Елена, которая помогает ей в хозяйстве; было трое сыновей: Павел шестнадцати, Гаврила тринадцати и Николай пяти лет, из которых Павла задрали на руднике. Павла она любила больше других детей, и потому ей очень тяжело было, когда его несправедливо взяли больного на рудник и там задрали; тем более тяжело, когда за правду ее же наказали.

Но будет ли какой прок из ее жалобы? Мысль об этом мучила Гаврилу Иваныча, который хотя и имел со всеми рабочими большую антипатию к начальству, но трусил, как и все трусят, что главный начальник не выслушает жалобу от бабы, а управляющий или прикащик сделает не только бабе пакость, но достанется и мужу. «Ну, будет что будет! бог не без милости!» – подумал Токменцов и вздохнул; на душе сделалось немного полегче.

Глава II. Осиновский завод

Читатель, вероятно, заметил, что наш рассказ начинается еще до воли. Предупреждаем его также, что Осиновский завод не может быть отыскан на карте, а имя владельца не найдется между нынешними владельцами.

Еще не доезжая до завода большой дорогой верст пять, глазам новичка в этом дело представляется красивая картина. Вы спускаетесь вниз с пологой возвышенности, направо сперва покосы, ничем не огороженные, потом кустарники, обгорелый редкий лес, а за ним поднимаются горы и пригорки; налево лес, сосновый и березовый, скрывающий виды, а впереди – сначала показываются мелкие кустарники, на пространстве в несколько верст, леса разных пород, преимущественно березовые и осиновые. Дорога сначала идет прямо, потом скрывается в лесу, а далее, смотря все вперед, на огромном пространстве лес, то опускаясь, то поднимаясь, то зеленый, то черный, то, в местах, красный от пожара, с дымом, стелющимся по большому пространству, – дает чудную картину. За пять верст отсюда, через кустарники и лес, видятся три каменных церкви с тусклыми куполами, серыми стенами, и вокруг них дома, каменные, крашенные, серые и черные; в середине этой массы серая полоса – пруд, скрывающийся налево за лесом. Высокая, голая гора Лапа, возвышающаяся за домами, идет как будто полукругом; далеке – верст за пятнадцать от завода – около горы тянется извилинами речка, как будто исчезающая далеко в горе; и серый густой дым, возвышающийся из одного большого здания с красной круглой крышей, стелется над строениями, тесно скученными на пространстве верст пяти по глазомеру. Это – Осиновский завод. Завод с этого места имеет вид неправильного пятиугольника, и дома то поднимаются кверху, то опускаются вниз – по неровности места. Дорога идет по косоугору, лес становится реже, на спуске невысокий кустарник, потом начинаются огоры, недостроенные дома, ничем не огороженные; дальше дома стоят теснее и теснее друг к другу, с небольшими заплотами. Дорога идет налево. Дома лепятся по косоугору и принимают горнозаводский вид – с дощечками над воротами, означающими фамилию хозяина дома, и дощечками над окнами, с годом, означающим время постройки дома. Дома одноэтажные, с двумя, тремя, пятью окнами, высоко сделанными от земли, с выбеленными и раскрашенными разными кружками, крестиками, ставнями, с пожелтелыми и черными воротами и заплотами. Это – новая сторона. Через лог и небольшую речку улица идет по глинистой почве, которая после дождя засыхает только в сильные жары. Опять улица немного поднимается; здесь место идет ровное.

На этой улице, называемой Большой Заводской, налево стоит питейный дом. Около его толкуются человек шесть рабочих в зеленых и серых зипунах. Они о чем-то спорят.

– Здорово, братцы! – сказал Токменцов, подъехав к ним. Он слез с телеги и, подошедши к ним, снял фуражку.

– Э! – откликнулся один рабочий.

– Не слышал, што Подхалюзин сотворил? – спросил Токменцова другой рабочий.

– Што?

– Наташку Никулиху в острог представил.

– За што?

– Фальшивую бумажку нашли.

– А мы хотим показать, што эти бумажки сам Подхалюзин робит.

– Гоже. А нет ли, братцы, пяточка?

– То-то што – в монетном куют, да нам не дают, – сострил молодой рабочий. И они вошли в кабак. Оказалось, что четверо из них были куренные рабочие, а два мастеровые, занимающиеся в самом заводе столярным ремеслом. Один столяр заложил зипун, взял полуштоф;

за водкой стали разговаривать крупно о разных делах, подправляя разговор остротами, закричали и, взявши в долг еще полуштоф, запели и заплясали. Пели они вот какую песню:

Штаники суконны.
Панталоны волоконны!
Ах, казаки десятники,
Варнаки шкурятники!
Положили выдрали – и т. д.

Плясали свой самодельный заводской танец. Казалось, они были веселы, но на душе у Токменцова невесело было: от водки он сделался еще злее, веселье товарищей его бесило, сердце как будто что-то щипало.

– Савелий Игнатьич! поверь в долг, – говорил он сидельцу.

– Не могу.

– А, дуй те горой! Ведь у него сына задрали.

– Ей-богу, не могу.

Так-таки Токменцову и не пришлось выпить. Он обругал сидельца, товарищей и вышел злой из кабака, неизвестно почему ударил сына по голове, стегнул крепко лошадь и тронулся, а рабочие, обнявшись и шатаясь, шли за ним, напевая:

– Мости, миленькой да дружочек...

Он уехал... Стали попадаться переулки, улицы, кривые и грязные; дорога усыпана шлаком; дома красивее. Токменцов проехал уже четыре каменных одноэтажных дома, десять полукаменных, несколько обитых досками и выкрашенных желтой краской, с садиками перед окнами, с красными и голубыми крышами, одну церковь. Вот выехал он в самую лучшую часть города: впереди, направо, заводской собор, за ним виднеются серые фабрики, а дальше гора Лапа. Здесь улица шире, черная дорога убита хорошо, есть деревянные и каменные тротуары. Налево – большой двухэтажный господский каменный дом, с каменными флигелями, с чугунными решетками, садом, выходящим на озеро, на котором сделана купальня, – и все это занимает большое пространство; направо большой собор, довольно красивый, с садом вокруг и чугунной решеткой; против собора заводская полиция и главная контора, между ними – площадь с гостиным двором, против которого в пятиоконном деревянном доме помещается Осиновская почтовая контора. Здесь есть и фонари, зажигаемые, впрочем, во время пребывания здесь начальствующих лиц горного ведомства.

Это называется запрудская сторона. В ней живет все высшее управление Осиновского завода с его округом, семь тысяч людей обоего пола, из которых до двух тысяч мужчин, подростков и малолетков составляют чисто горнорабочий класс. Две трети жителей этой стороны принадлежали казне, остальные – владельцу завода.

У ворот господского дома, в котором живет управляющий граблевскими заводами, стоит будка. В будке сидит караульный осиновец и почиливает сапог; из улицы выехали рабочие с углем. Шедшие рабочие, поравнявшись с господским домом, снимали фуражки и шапки.

За господским домом начинается плотина, идущая на полверсты, запруживая озеро, имеющее длины шесть верст и ширины от одной версты до трех верст. Это озеро называется заводски прудом. Налево, впереди, – озеро, скрывающееся правее в углу за лесом, направо – заводские здания, большие, серые и почернелые от дыму и углей каменные флигеля с круглыми и обыкновенными крышами. Это фабрики: кричная, раскатная, доменная, кузнечная, – с высокими трубами, из которых постоянно выходит дым густыми черными и серыми клубами. Дорога здесь черная от сыплющихся во время ветра углей из фабричных труб и углей, падающих с телег, в которых их возят на угольный двор, находящийся позади фабрик. Около кузнечной фабрики сделаны большие весы, а над ними в башенке висит полупудовый колокол,

которым скликают народ на работу и по которому прекращают работы. Сквозь фабрики через плотину проходит небольшая речка. Весной, во время спуска воды из пруда, она становится удобной для сплава каравана с металлами.

За плотиной опять продолжают заводские строения, левее от горы Лапы, – то старозаводская слобода. Если стать посередине плотины лицом к озеру и посмотреть направо и налево, то с первого же раза бросается в глаза различие двух приозерных сторон. На левой стороне у берега – сады, и над ними высятся то каменные, то полукаменные дома, то крашенные крыши, видны беседки в огородах, движение по воде около берега; на правой же стороне бросается в глаза черная масса кое-как наставленных угрюмых домов – маленьких, ветхих; огороды ничем не огороженные, с банями без крыш. Задние постройки, вмещающие в себе амбары, погреба, сараи и т. п., так крепко пристроены друг к другу, что с одного конца до другого можно свободно пройти по крышам.

Токменцов въехал в узкую грязную улицу. Он проехал много домов, а переулков нет. В этой слободе только одна улица, которая тянется вдоль по озеру и идет не прямо, а разными извилинами. Здесь дома ветхие, покачнувшиеся направо и налево, подпертые, с двумя окнами и со ставнями, ничем не окрашенными.

В этой-то слободе и живет Гаврила Иванович Токменцов в числе человек тысячи населения, которое, называясь непременными работниками, принадлежало наследникам Граблева.

Вот и Токменцова дом на левой стороне, с двумя окнами на улицу, с высокой крышей, покачнувшейся на правый бок, с воротами; на дворе, около задних построек, стоит высокий шест с будочкой, или просто – скворешник.

Глава III. Отец и дочь

Елена Гавриловна, по-заводски Оленка, была ростом невелика. Говорили соседи, что она по глазам походит на отца, ртом и носом на мать, но ее бабушка говорила всем, что она ни на отца, ни на мать не походит, а вся вылитая как есть в нее, бабушку. Она и действительно не походила на родителей, а Онисья Кириловна доказывала по-своему: что она только махонькая походила на нее, а как сделалась эдакой дылдой, то стала походить черт знает на что, и сетовала, что дочка сделалась какая-то подхалюза и белоручка.

Олена сидит у окна и вяжет чулок, сидит она босиком, сложивши левую ногу на правую. На ней надет сарафан из синей изгребины, и хотя этот костюм, прошитый по бокам красной тесьмой, с узорами на груди, довольно беден на вид, но он прост и опрятен. Елена Гавриловна девушка вполне здоровая, но на лице у нее нет румянца, который бывает у женщин, много работающих на воздухе, на стуже и на жару, около печи, много спящих и много кушающих. Положим, и Елена Гавриловна работала на покосах, но немного; а лишь только она могла ходить, то росла так же, как и ее уважаемый родитель, Гаврила Иваныч: подобно ему, она так же бегала по улице с ребятами обоих полов и разных возрастов, так же она играла с ребятами в разные игры, даже в бабки, в городки и даже в змейки, так же она прежде бегала в одной рубашонке, постоянно грязной, которую она частенько задирала на голову; такая же она была замарашка, с белыми распущенными волосами, некрасивая; но теперь старики, глядя на нее, говорят: «Какая ты, Олена, красивая да опрятная стала! сичас хоть под венец...» Но, собственно говоря, вы красоты в ней большой не заметите: лицо с веснушками, бледное, но довольно правильное, чисторусское, а не какое-нибудь с татарскими или зырянскими пятнами или уклонениями, потому что их деды были русского происхождения, или, если шли от каких-нибудь инородцев, то, со временем, их формы лиц сложились в обычный тип горнорабочего человека, – высокий, крепкий и сильный в первое время молодости. Волосы у нее пепельного цвета, длинные, их она заплетает в косички, а потом вокруг головы и закрывает платком, когда ходит по улице, а дома их она никогда не закрывает. Она находит, что платок ей больше нравится, чем какая-нибудь сетка, которую она надевает в самые большие праздники. В дополнение к ее костюму надо еще прибавить, что в ушах у ней вдернуто по сережке, которые состоят из янтаря в медной оправе наподобие колокольного языка, а на правой руке, на среднем пальце, надето оловянное кольцо, принадлежащее ее матери. Вязанье тихо что-то клеится. Она то вздохнет, то задумается, сидит минут пять и смотрит в угол, то опять вздохнет и погладит большого бурого кота, наслаждающегося созерцанием, как на улице по грязи бродят овечки, то запоем протяжно заунывную песню:

Все-то ноченьки млада просидела.
Ах, одна-то думушка с ума нейдет,
Не с ума нейдет, не с разума.
Прогневала дружка милова:
Назвала его горькой пьяницей
Да несчастною...
Мое-т миленький да о-ей
О-осордился.
Он уж больше ходить-то
Да не станет,
Дороги те подарки он носить мне
Перестанет...

Как видно, эту песню она очень любила, потому что, кончив ее, она опять пела ее же – и пела с каким чувством!..

Детство ее прошло не очень-то весело. Его можно разделить на две различные половины по развитию: первая заключалась в том, что она была предоставлена на произвол окружающих ее личностей, во второй – она принуждена была подчиниться влиянию матери и своей семьи. С самого раннего возраста, т. е. с тех пор, как только она перестала сосать материнскую грудь, она оставалась на произвол судьбы. Она была первое дитя и один ребенок в доме. Кормивши ее грудью один год и чувствуя скорое рождение нового ребенка, мать бросила ее, предоставив бабушке, которая, при всей своей нежности к ребенку, не могла, по грубой своей натуре, удовлетворять капризам ребенка, ласкать его не умела и часто потчевала шлепками по чем попало; часто случалось, что ребенок надоедал старухе, занятой постоянными лечениями и в особенности повивальным упражнением в старой слободе, а мать была занята или хозяйством, или носила мужу на рудник пищу, так что ребенок оставался назаперти в зыбке и ревел целый день, а иногда и целую ночь. Случалось ей и оставаться на полу или на лавке и в этом случае или падать с лавки, или стукаться головой о ножки стола, о печку и тому подобные вещи. Родился другой ребенок, за девочкой уже не стали так хлопотать, как прежде, и ее часто оставляли голодать и колотили старшие в сердцах и отец под хмельную руку. На четвертом году девочка уже бегала по улице. До девятого года, предоставленная себе, девочка находилась решительно под влиянием товарищей, и как мальчики, так и она, усваивала себе их манеры и понятия вместе с играми; но в это время она уже справляла в своем семействе кое-что: качала зыбку, таскала братьев, играла с ними, выносила помои, мела и мыла пол в избе, давала корове сена, загоняла во двор овец, ходила в лес по ягоды и по грибы с ребятами; потом ее стали приучать – вязать, стряпать, шить, заставляли петь при гостях песни. Наконец, она и совсем выросла; на нее уже смотрели как на девушку-невесту и требовали точного исполнения всех ее обязанностей. Теперь она умела все делать, чему ее учили, и она очень хорошо знала, что впоследствии выйдет замуж и будет сама рожать детей, – это везде в простом быту, где не стесняются никакими выражениями друзья-приятели и хорошие знакомые, дети знают очень рано. Бабушка ее была расколница. Поэтому она требовала от зятя, чтобы он ее выучил читать и писать. Отцу было не время, мать грамоту знала плохо, а бабушка говорила, что ее хотя и начал учить муж, уже за мужем, но она, кроме азбуки, ничего не поняла. Поэтому девочка выучила дома только со слов азбуку, а играя с ребятами, она кое-как выучила склады – и то по церковной печати. Так она знала читать до двенадцатилетнего возраста, а с этого времени, занимаясь постоянно чем-нибудь, она позабыла грамоту, кроме аз, буки да веди. Хорошо еще, что у нее есть подруга на запрудской стороне, умеющая читать и писать, но она дочь штейгера, к ней Елене приходилось ходить чуть ли не раз в год, и тогда о грамоте не было помину, да и Елене, вырвавшись из дому, хотелось только петь и плясать. Только в этом году, когда умерла жена штейгера и подруга Елены просватана замуж, Елена ходит туда чаще, просиживает по суткам и между делом учит грамоту снова. Только она умеет читать по складам и писать печатно большие каракули.

Отец о нравственности своей дочери не заботился, да и ему в голову никогда не приходило, чтобы дочь могла избаловаться, потому, во-первых, что дома он жил редко, а во-вторых, она была смиренная и при нем всегда была дома. Правда, он поговаривал: выдать бы ее замуж, – но за своего брата, рабочего, ему было жалко выдать, потому что он знал, что жизнь рабочего – жизнь очень тяжелая; писарей заводских он и терпеть не мог; за хорошего человека он ее выдать не мог, потому что был беден да при том непременный работник. Так этот вопрос и был им покончен, до поры до времени. Мать же строго следила за дочерью: если куда-нибудь дочь уходила, она бранила ее и попрекала чем-нибудь; если она разговаривала с молодым мужчиной, мать опять корила ее целые сутки, а об гуляньях и помину не было. Работать ей самой

на себя было дело невозможное, потому что она заправляла в доме почти всем хозяйством; на рудник пустить ее боялись на том основании, что девушке с рабочими работать неудобно; работать дома на продажу было нечего, потому что в каждом доме женщины шьют одежду на себя и на семейства сами, а на рынке изделий и без осиновских произведений много.

Елена часто думала о своем положении: что из нее выйдет? Часто вспоминая девические игры и куклы и припоминая разговоры отца, матери и разных родных и знакомых, она давно понимала, что ее назначение – быть женой, а разговаривая с подругами, она поняла, что такое муж и жена, но только все еще не понимала, что такое любовь и как можно сойтись так, чтобы выйти замуж. Но мысль об этом не давала ей покоя, когда она оставалась одна: юная кровь ее волновалась, прилиwała к голове, в голове бродили какие-то несвязные думы, сердце билось сильно. Она не понимала, что происходило в ней, и при виде молодого человека в сюртуке, с которыми ей на старослободской стороне встречаться случалось редко, она потупляла глаза, сердце билось еще сильнее, а если ее ущипнет старозаводский парень, она хотя и отругивалась и отмахивалась, но ей делалось как-то неловко; она скоро убегала, а во сне ей мерещились вечерки, свечи свадебные, что она где-то в большой церкви стоит такая веселая, разодетая, народу много и слышит она говор: Оленку Токменцову-ту, вон энту, венчают сегодня...

Мать ее часто замечала, что она нынче что-то часто сидит без дела, сложа руки, и уж доставалось же Елене! Но она все переносила, только мать увеличивала за ней надзор; но может ли тут иметь силу надзор, когда человек только что начинает любить?

И такое дело тоже не минуло Елену Гавриловну, и случилось очень просто.

Была она как-то у своей подруги на вечерке. На вечерке было штук восемнадцать молодежи обоого пола, а наши народные, особенно заводские, вечерки редко проходят без песен, плясок и поцелуев; таковы уж наши песни и обычай. Родители сами дают детям волю, потому что хорошо знают, что на вечерках играют больше женихи и невесты (еще не помолвленные): из десяти человек непременно пять женятся или выйдут замуж, да и девица, кроме вечерки, ни за что не дозволит себе дать поцеловать ее чужому человеку. На вечерках с Еленой очень часто танцевал столоначальник главной конторы, Илья Назарыч Плотников, человек 23-х лет. Лицо его было хотя и некрасивое и немного попорчено от ушиба, но он так маслено-любезно глядел на нее своими черными глазами, так умильно улыбался, что она постоянно краснела от его пожатий, улыбок и поцелуев. Еще никогда она не была в таком настроении, никогда не волновалась так, не билось так сильно ее сердце, что она сама не могла понять, что с ней делается... «Господи! что это со мной стряслось? – думала она, – ведь я плясала же с другими, и с приказными, и с парнями, и ничего, а тут... оказия!..»

Плотникова она с этих пор не видала долго, а увидела его на гулянье в господском саду, куда она зашла совсем случайно: мать послала ее на рынок; шла она мимо сада, смотрит – народ туда идет. Хочется посмотреть, что там делается, да одета некрасиво: ну, да и хуже меня ходят, – и зашла. Вдруг подходит к ней Плотников; на нем пальто черное новенькое, шляпа, сапоги со скрипом, в одной руке тросточка, в другой папироска. Стыдно сделалось Елене, что она такая ненарядная.

– Здравствуйте, Елена Гавриловна, – проговорил он ей и протянул руку.

Елена Гавриловна покраснелась; руки ей дать не хочется; бежать хочется, да народу много.

– Здравствуйте. Вашу ручку прелестную.

Еще того стыднее сделалось Елене Гавриловне. Народу идет много, все равно на нее глядят: она такая ненарядная, а он...

– Здоровы ли вы?

– Здорова...

– Пойдемте гулять.

– И, нет... как можно!

- Хотите орешков?
- Покорно благодарю.

Плотников достал из кармана пальто мелких кедровых орехов две горсти и дал их Елене Гавриловне; та не знала, куда ей деться с орехами, потому что у нее не было в сарафане карманов. Плотников как будто издевался над ее неловкостью, но она этого не заметила.

- Вы где живете? – спросил он девушку. Та рассказала.
- Можно к вам зайти?
- И, нет!.. Узнают наши, так и вам, и мне достанется. Прощайте.

То ли от радости, что она увидела Плотникова, то ли от чего другого, она, не помня, пришла на рынок и, вместо полфунта соли, купила фунт, а перцу купить позабыла. Шла она домой как помешанная, не зная, что с ней делается, но пришедши во двор, она все-таки успела спрятать оставшиеся орехи под крылечко.

Через четыре дня после этого Елена Гавриловна сидела у окна с работой. Мимо окна шел Плотников; увидев ее, он снял фуражку и прошел мимо. Лицо Елены Гавриловны вспыхнуло, она ушла на крыльцо и стала как вкопанная, так что мать закричала на нее:

- Што ты, шкура барабанная, стоишь-то? Елена Гавриловна вздрогнула и сказала:
- Ничего.
- Пошла в избу, вынь из печки-то горшок. У!

И обидно же Елене Гавриловне сделалось, что мать ее горя не знает, а какое горе у нее – она не может сообразить прямо; и досадно, что ей не удалось поговорить с Ильей Назарычем, ночью она была как в бреду и пролежала до утра: то блохи, то клопы кусают... «И что это со мной диется? Прежде ровно они, проклятые, не кусались... Ах бы, поскорее увидеть его... Нет, не надо... Ай бы да поговорить... Нет, увидят; в саду бы...»

Плотников что-то часто стал прохаживаться по слободе, так что это заметили рабочие: «Обломаем же мы этому долговязому ноги! Ишь, нюхает што-то: верно, к Токменцовой Оленке подбирается, гад поганый». Однако его еще никто не побил, и Елена Гавриловна видела его нередко.

Мать ничего не знала; она целые две недели бегала из дому: то за Павла хлопотала, то по начальству бегала; теперь она ушла из дому, сказав дочери, что идет к мужу.

Сегодня в сумерках Елена Гавриловна, как мы видели, сидела у стола скучная и чего-то дожидалась. Вдруг идет Плотников; дрогнуло у нее сердце, не стерпела она и отворила окно, чего никогда не дельвала. Плотников ей поклонился.

- Куда вы это ходите? – спросила она Плотникова.
- Тетка у меня тут живет у озера: Коропоткина.
- Знаю.
- Вы одни?
- Да.
- Можно зайти?
- О... нет!.. Право, боюсь.
- Ничего, – и он пошел к калитке.

Закраснелась Елена Гавриловна, подумала: «Зачем он?» – и пошла на крыльцо, надев предварительно на ноги башмаки. Во дворе, крытом навесом, лежала на полу, сделанном очень давно из досок, корова, неподалеку от нее лежали овечки, направо поленница осиновых и березовых дров, налево, в углу, около стайки, опрокинуты сани, долгушка, начатая на продажу нынешним летом, но неоконченная и разный хлам: колеса, жердочки, чурбаны, вершак, а посреди двора, на веревочке, протянутой через весь двор, развешаны разных величин тряпки. На крытое же крылечко нужно подниматься четырьмя ступеньками. На крылечке рогожа, а в углу повешен глиняный чайник, служащий вместо умывальника. В сенцах, захломощенных кадушками, тулками, вениками, ведрами, сельницей, довольно чисто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.